

СЕРГЕЙ НЕБОЛЬСИН

О РОССИИ, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ

(письмо Вадиму Кожинovu)

Шестнадцать лет назад, прилетев в Москву после длительного отсутствия и издалека (мне и октября 1993 года не пришлось увидеть, и сведения о нем доходили неполные), я встретил Юрия Кузнецова. Он сидел у себя в редакционном кабинете, и я задал ему вопрос, который помнил по известной статье Кожинова: “Итак, **в какой стране мы живем?**”

Кузнецов ответил своими словами, причем особо подчеркнул: “Вот, прочитай. Это никакому компьютеру не поддается: ни написать, ни вычислить смысл”. И он протянул свое стихотворение, которое мне даже и знающим его хочется еще раз огласить. Оно было свежее и называлось “Федора”.

*На площадях, на минном русском поле,
В простом платочке, с голосом навзрыд,
На лобном месте, на родной мозоли
Федора-дура встала и стоит...*

Голос навзрыд нам знаком; но только не по стихам Кузнецова. “Как мне жить и плакать без тебя”, “над тоскою нив твоих заплачу” – эти мелодии-рыданья, они из Блока; они блокоподобны и блокообразны, и явно из той стихии, если вы ее изучали, что Есенин называл тоскливо-завороженным путешествием по Руси **в голландских ботфортах**. Но признаемся: выкладки какой бы то ни было учености – тоже компьютерщина, Кузнецов не зря чурался ее.

И вот, глуша компьютер в самом себе над стихотворением Кузнецова, – да: все-таки слышишь в нем и отголоски тютчевско-блоковских стенаний и радений, но больше находишь ими же не почувствованное и не постигнутое. И оно создано вполне, что кажется после пережитого в 1993 году, “по итогам октября”, как это издавна предписывало ответственной поэзии начальство.

*У бездны, у разбитого корыта,
На перекате, где вода не спит,
На черепках, на полюсах магнита
Федора-дура встала и стоит.*

*На полавке, на льдине, на панели,
На кладбище, где сон-трава грустит,
На клавише, на соловьиной трели
Федора-дура встала и стоит.*

*В пустой воронке вихря, в райской куще,
Среди трех сосен, где талант зарыт,
На лунных бликах, на воде бегущей
Федора-дура встала и стоит.*

*На лезвии ножа, на гололеде,
На точке i, откуда черт свистит,
На равенстве, на брани, на свободе
Федора-дура встала и стоит.*

*На карусели, на словечке “надо”,
На пятом колесе, что восьмерит,
На чарах зла, на гребне водопада
Федора-дура встала и стоит.*

*На граблях, на ковре-пансамолете,
На колокольне, где набат гремит,
На истине, на кочке, на болоте
Федора-дура встала и стоит.*

*На лилии, на плечи мухомора,
На снежном коме, что с горы летит,
На трех китах, на яблоке раздора
Федора-дура встала и стоит.*

*На опечатке, на открытой ране,
На камне веры, где орел сидит,
На рельсах, на трибуне, на вулкане
Федора-дура встала и стоит.*

*Меж двух огней Верховного совета,
На крышах мира, где туман сквозит,
В лучах прожекторов, нигде и где-то
Федора-дура встала и стоит.*

Эта непростая, невычисленная и невычислимая вещь навела меня на размышления, которые излагаю.

* * *

Что “умом Россию не понять”, общеизвестно как слова Тютчева: общеизвестно не как истина, ибо напрасна уж такая настроенность против ума, — но как слова крылатые. А так-то зачем сомневаться: разве Пушкин-то виденную им Россию своим умом не понял?

Будь оно как угодно, над неизмеримую Россией и над стихами Тютчева об этом имелись и охотники глумиться.

Летом 1917 года (обстановка была такая, какая Тютчеву не предвиделась ни сном ни духом) Алексей Максимович Горький печатал свои ироничные “Русские сказки”, среди которых одна как раз обыгрывает классический образ. Живет, мол, на свете несуразная и неуклюжая баба Матрена. Ни умом ее, нелепую, не понять, ни даже обхватить нельзя — по ее необъятной дородности. Россия-Матрена; она велика, но ум ее короток; она нескладна, и ничто в ней путем никак не сложится; так что ни демократического реформирования, ни какого иного дельного прогресса от нее не жди.

Все чаще, в том же 1917 году, выходявший на улицу “босяцкий элемент” (как его называли) смотрел на дело совсем не по Тютчеву. Словно Горький научил его не признавать ни ума, ни общего аршина, ни веры.

Пальнем-ка пулей в святую Русь! — и все тут. Единственное, что в ней несомненно — ее несуразность. Она не нужна была издавна ни Горькому, ни его же пером воспетым когда-то героям-босякам: кондовая, избяная, толсто-задая. Вот в ее погребях и на “этажах” — пошарить можно. С такими словами на босяцких устах — но, правда, без особой похвалы, скорее, с оторопью — вывел подобный люд на панели ночного Петрограда и Александр Блок.

Блок Горького терпел, а Тютчева любил; и что наша страна не под силу никакому уму, наверняка соглашался (на трезвый взгляд, повторим, соглашался ошибочно). Согласен он был, очевидно, и с тем, что говорила тютчевская вера:

*Истомленный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.*

Таким образом, что поэту “Двенадцати” оставалось делать, когда

Толпа вошла, толпа вломилась?

Это опять слова из Тютчева: толпа вломилась — **и ты невольно устыдилась и тайн, и жертв, доступных ей**; Блок и эти слова оценил. Оценив это, он не мог такого восхвалять, конечно. Но даже и падших, даже и падких на душегубительный бунт — он их хотел не то что славословить, но подобно обескураженному мученику-страстотерпцу подставить им щеку, а нас хотел пусть как-то, но обнадежить. Дозор, чеканящий шаг по Питеру, встревожен, ибо

Кто там машет красным флагом?

А ну-ка, выходи, иначе стрелять начнем — приструнивают фигуру с флагом сами же красные. Ибо в чьих-то не тех флаг руках, и гулящей рати это подозрительно (как бывало подозрительно и всяким критикам — например, “марксистской генеральше” Марии Андреевой). Но вспоминаешь почему-то не только генеральшу, а бдительную кондукторшу из булгаковского трамвая “Аннушки”: **вы куда со своим котом? с котами нельзя!**

И Блок одновременно и сам взвинчен, и всех же, как мы сказали, обнадеживает и успокаивает. Будь сейчас хоть несусветная вальпургиева ночь, а все равно —

Впереди — Исус Христос.

И пускай со своею жемчужностью этот субъект у Блока как-то чересчур анемичен и женствен — и пускай он, конечно, **не вера, а греза с декадентским оттенком** — но прорицание понятно. Да, уж если началось, то красному флагу подыграет и красный петух. Но пускай вы, ребяташки, к такому

*Ко всему готовы,
Ничего не жаль —*

а того, с красным флагом, вам и ни догнать, ни обогнать, ни устранить. Впереди, хоть в лепешку разбейся при всем своем “атеизме”, окажется и будет поджидать именно он.

* * *

Не так ли оно и вышло, с какой стороны ни подойти? (Ну, скажем, со стороны тех, кто совсем не так давно голь перекатную смирил, разогнал или развенчал, а Христа, для порядку отобрав у него красный флаг, учредил вновь —

и все бьется, все бьется лбом о паперть: если не в очень элитарных храмах, то всегда в крайне приличной компании.)

Так оно вышло или с оттенками, а сейчас нами пережит уже какой-то совершенно особый октябрь — и уж его-то, опять же, ни сном ни духом не предполагали они все: и Пушкин, и Тютчев, и Блок. О Блоке, что первый из октябрей увидел и готов был ему сказать: что ж, безумствуй, даже сожигая и меня — о Блоке мы добавим, занимая от силы минуту, лишь немного. Да, не вполне к лицу “светлому иноку” замороженно поддакивать поножовщине, но так было: пальбою по кондово-избяному-толстозадому Блок хоть на ненадолго, но оказался увлечен. Да, он и сам набедокурил, упившись тем, что увидел в этом “размах”.

Но готов же был Блок заранее, что и ему достанется в полную меру, когда ощутимей окажутся не размах, а что-то похлеще? Готов. И многим бы у него поучиться — хотя бы в чем-то, хотя бы задним числом, однако и у него.

* * *

Перевернем эту страницу. Толпа ведь уже и на наших глазах вломилась вторично, освободила от рвани, заняла и хочет расширить захваченный пятчок; она не склонна уважать никаких тайн, не помышляет и о малейших жертвах (если только о своих — то ни о малейших). Ничего себе христианство, сказал бы кто-то; но нам здесь уже не хватает учености, и предпочтем немотствовать.

Однако мы русские — и каким-то хоть сугубо русским умом, а надо же это как-то ухватить? Неужели он послабее других: страну-то веками собирал он, и предохранял и оборонял он же. Сколько раз он сурово и точно прикидывал виды на будущее и жертвенные нужды настоящего, и сколько раз надо было повторить, повторим снова и мы: **если мы не успеем — нас сомнут**. И если вы добавите, что это был не русский собственно ум, а **русский дух** — что ж, почему не согласиться.

Однако как ни назови, а у русского духа — сразу две бесподобные гениальные одаренности.

Первая — **полет и крылатость**. От ковра-самолета и конька-горбунка до пансамолета, до Королева и Юрия Гагарина. От Карпат и Днепра до Камчатки и Чукотки. Без крыльев такие дела не делаются. У Аристотеля спросили: дай формулу человека — и он ответил: **двуногое, но без перьев**. И хитро “сформулировал”, и безупречно: ведь не сказал же **без крыльев**. Это не только грекам, это всем природой завещано, это нам даровано, это нами исполнено бесподобно. Крылатый конь Ермака донес его дружину до Тобольска; Суворов преодолел Альпы; крылатый Пушкин дал крылья Глинке и Чайковскому. И разве Транссибирская магистраль, разве Северный морской путь, разве Гастелло и Александр Матросов — не полет? Разве все это — не та же птица-тройка?

Кто-то заметит или почти возразит, что это верно, лишь “говоря образно”. Но как же иначе, если наше русское самое емкое мышление — мышление в образах и есть? Не Владимир же Соловьев выразил русский дух в своей “русской идее” — и взвинченной, и какой-то униатски-пораженческой, не сказать дезертирской. (Туда же и все бердяй-булгаковичи, как назвал эту публику остроумный Иван Солоневич.) Нет, не они, а уж скорее Пушкин — и выразил вполне “в образах”. Правда, и Пушкин от кого-то свой русский дух сам впитывал. “Спой мне песню...” И что же — разве “Калинка” в исполнении победоносного Краснознаменного ансамбля в мундирах (сам слышал и видел: на моих глазах рукоплескали этой нашей победоносной музыке и Германия, и Япония) — разве наша песня не русский полет?

* * *

И вот среди несусветного беспорядка и месива осколков и обломков

Федора-дура встала и стоит.

Перехожу к Кузнецову, для разгадок которого еще нет, он сам сказал, никакого “компьютера”. Вторая чисто русская одаренность — **гениальная одаренность к саботажу, учиняемому против чванливой лжи**, особенно лжи начальства.

Вспомните одного из кузнецовских наставников, литературоведа и историка. Россия к 1917 году на всех парах развивала капиталистический прогресс. Изнывала от собственных достижений. Обгоняла уже чуть ли не весь свет, говорил Кожин. Но не вышло; какой-то, говорил ученый, случился перегрев. А мне-то кажется, что завелась, завелась и распространилась в ее теле какая-то антипетровская, антипушкинская, антименделеевская ржа, даже лжа — и Россия весь этот бескрылый напор державно-толстопузых великих князей, тайных советников, неопишимо изобретательных ухватисто-смекалистых купцов первой гильдии, прочих сытых предпринимателей и прочих упитанных задержавших, всю эту “капитализму” — Россия саботировала, распознав застарелую уже, дряблую сытость и подлог даже в крикливо-демократичной керенщине.

Дальше — было при нас, ибо с нами вошло в поговорку (удостоверил, конечно, “Борис Леонидович”). Истерзанная и измочаленная, полуголодная Россия двинулась на собственную всесоюзную стройку — и построила. С букварем в руках взялась за создание “яков” и “катюш” — создала их и дала отпор супостату. Мы успели, и нас не успели смять. Но выдохся с годами, снова без пушкинского и без менделеевского начала, ставший напыщенным и безнациональным уклад — и народ сперва исподволь, а потом и открытою брашною, насмешкой и неделаньем саботировал и оказенившуюся “социализму”.

Нет саботажа, который бы своей гениальностью выигрывал у русского, самородного саботажа. (Василий Розанов считал это саботажом тупо-непонятливых, но ошибался.)

И вот задумаемся: не подобная ли участь ждет и казенщину новую; ее торжества и вспышкopusкательства уже без всякой попытки к русскому полету, ее выкладки насчет “верховенства закона” — при “правовом государстве”, но без тени чести и совести? Не она ли, эта участь, ждет всяческую новую русскую толстопузость с ее “устойчивыми развитиями”?

О, да! о, конечно: упершаяся на чем-то своем Федора есть “дура”, скажете вы; ведь и Кузнецов так обозначил! Но ее всемирного значения и ее гениальнейший до простодушия саботаж — ее саботаж нынешнему капиталистическому посулу непреклонен. В упорствовании этом — русский дух; тут обнадеживающе Русью пахнет. В нем есть и русский ум, если посмотреть с не обозначающейся раньше стороны. Кургуз тот ум, которому такую Россию не понять. И за этот ее гений с благодарностью и через много-много лет будет называть Россию, как повторял это Кожин, **“всяк сущий в ней язык”**. Может, даже и весь мир. А мы пока что поживем в ней такой, как она —

меж двух огней Верховного Совета

стала, от пули невредима, и стоит.

Вы спросите: а как же все-таки “с голосом навзрыд”? Да как: ведь были и пули, и Кузнецову долго слышались, наверное, чьи-то прямые рыданья. А впрочем, не каждое лыко в строку: у Пушкина “лошадка... плетется рысью, как-нибудь” — тоже не совсем внятно. Но Русью и это пахнет, хотя и тысячами слов русский дух не ухватить и не охватить: с одной стороны — “я слез не проливал”; с другой стороны — “порой опять слезами обольюсь”.

Кстати, а мы-то живем где: **в стране или в духе?** Кажется, что ответ ясен. Но стоит огласить его, как опять есть опасение, что получится какая-то казенщина или напыщенность.

Только если бы Кожин спросил нас: **в какой стране вы там живете?** — ответить было бы вполне можно. Вадим Валерьянович, мы живем в стране, где вас вспоминают повсюду: и в Москве и в городе на Неве, и в Краснодаре и в Армавире, и в Вологде, в родном Крыму и во Владивостоке, и на Курильских дальних островах.